



Вл. БОЦЯНОВСКИЙ

В погоне за смыслом жизни

I

Один из молодых наших писателей назвал современную нам русскую литературу «литературой мертвецов». Отзыв этот, может быть, слишком строгий, примыкает всецело к тем жалобам на серенькое время, переживаемое литературой, которые за последние годы сделались довольно заурядным явлением и успели даже превратиться в общее место. Многими, конечно, жалобы эти повторяются уже по инерции, по традиции. Но очень многие высказывают их вполне сознательно и не без основания.

Действительно, если всмотреться в причины этих жалоб, то прежде всего придется сказать, что кроются они не в количественном оскудении, а в качественном. В самом деле, достаточно просмотреть наши ежемесячные журналы, каталоги книжных магазинов и газеты для того, чтобы убедиться, что количество беллетристических произведений не только не уменьшается, но, наоборот, с каждым годом все возрастает и возрастает в удивительной прогрессии. Но этот же просмотр покажет и причины, вызывающие жалобы на оскудение. Перелистывая журнал за журналом, вы поневоле обратите внимание на такое, например, явление, что бóльшая часть всей массы литературных произведений принадлежит всего лишь двум-трем авторам. Не опасаясь впасть в ошибку, можно сказать, что в половине журналов вы встретите романы или повесть Потапенко, Боборыкина, Немировича-Данченко¹ и еще двух-трех. При этом неизбежно бросится вам в глаза и то обстоятельство, что один и тот же писатель, хотя бы, например, Потапенко, печатал два-три романа в нескольких журналах одновременно.

Нисколько поэтому не удивительно, если при такой необычайной плодовитости наши беллетристы создают нечто серенькое, крайне однообразное, написанное по одному, раз уже принятому шаблону. Каких-либо новых, самостоятельно продуманных «идей», конечно, здесь нечего ждать. Арсенал у всех у них старый, взятый у других. Никто из них не скажет вам чего-нибудь нового, своего. Они или фотографируют, с точностью этнографа, окружающую их жизнь, или же проповедуют старые истины, чуть ли не прописную мораль. Возьмите хотя бы один из первых романов Потапенко «На действительной службе», который главным образом и доставил романисту имя. Разве это не прописная мораль? Герой этого романа, священник, перед которым открывалась блестящая карьера, уезжает в деревню и здесь, благодаря совершенно исключительным условиям, старается быть бескорыстным, отказывается от платы за требы и т. д., и т. д. Разве не этнографический характер носят рассказы гг. Тана, Серошевского² или Мамина-Сибиряка?

Но это еще в лучшем случае. А обыкновенно все эти огромные романы представляют собой не что иное, как простое, часто механическое, чередование «разговоров» с «описаниями» и наоборот. Авторы этих «сочинений» в беллетристическом роде, принимаясь за перо, обыкновенно не задаются вопросом о том, чем они закончат свои романы, и нередко случаи, что подчас, как это известно за редакционными кулисами, забывают имена своих героев, похоронив — воскрешают их и т. д. Присущий этим беллетристам хотя и не особенно крупный, но все-таки талант делает эти произведения удобочитаемыми. Проникнутые тонким юмором рассказы г. Потапенки, особенно из духовного и студенческого быта, имеют довольно обширный круг читателей и действительно иной раз не лишены занимательности и интереса.

Но ведь дело не в занимательности того или иного произведения. Одна занимательность теперь читателя удовлетворять не может. Как совершенно справедливо заметил граф Л. Н. Толстой, в настоящее время, «что бы ни изображал художник, — во всем мы ищем душу художника»... И чем ярче сказывается эта душа, чем индивидуальнее и субъективнее автор, тем более мы его любим, даже если он не рассказывает нам никаких занимательных историй.

Лучшим примером может служить Антон Чехов. В нескольких томиках его сочинений вы не найдете крупных романов или обширных повестей. Все это художественно отделанные миниатюры, рассказы о самых обыденных эпизодах из повсед-

невной жизни самых обыкновенных людей. И между тем с каким живым интересом набрасываетесь вы на все, даже небольшие рассказы, подписанные именем этого писателя. Вы с увлечением читаете их, потому что за каждым его словом слышите его тоскующую душу, видите его страдающий в пошлой обыденной обстановке образ. Без громких фраз и жалких слов целым рядом конкретных образов Чехов так искренно говорит о своей скуке, о тоске, которую возбуждают в нем окружающие люди и вся вообще жизнь, что вы охотно прощаете ему отсутствие новых слов, отсутствие конечных выводов. Ново уже то, что все старое его несколько не воодушевляет, что оно наводит на него тоску, что тоска эта выражается у него так художественно просто, так искренно.

II

Чехов, впрочем, очень многих подкупает своим выдающимся художественным талантом. Но вот другой, еще молодой, писатель, у которого, можно сказать, таланта почти нет и который тем не менее пользуется теперь большой популярностью исключительно благодаря искреннему признанию в своем недовольстве «старыми словами», благодаря тому, что он искренно ищет смысла жизни. Вы, может быть, догадываетесь, что я говорю о г. Вересаеве. На нем я позволю себе остановиться несколько подробнее, так как, во-первых, о нем говорили сравнительно немногие, а, во-вторых, потому, что, несмотря на это, рассказы г. Вересаева благодаря их внутренним качествам получают с каждым днем все большую популярность, о чем красноречиво свидетельствует хотя бы второе издание томика его рассказов.

Нужно сознаться, что рассказы эти не производят особенно яркого впечатления. Вересаев по свойству своего таланта — не художник. Он пользуется беллетристической формой как средством пропаганды или просто изложения разного рода учений и теорий. В самом деле, что представляет собой, например, его рассказ «Поветрие», самый большой очерк «Без дороги» или рассказ «На мертвой дороге»? «Поветрие» написано на старую тему тургеневских «отцов и детей». Отцы г. Вересаева выступают в роли докторов и устроителей артелей, а дети — конечно, в роли марксистов. С точки зрения исторической перспективы, если хотите, это вполне верно. Ведь Базаров, «дитя» времен Тургенева, теперь, если бы не умер, наверное, был бы «отцом» и служил бы в земстве врачом.

Между представителями этих двух лагерей происходит обмен мнений в такой форме, что вас все время мучит вопрос, не переложил ли г. Вересаев в рассказ отчеты о заседаниях в вольноэко-номическом обществе?!

Послушайте, например, как говорит студент Даев. «Иван Иванович! — обращается этот представитель марксизма к устроителю артелей. — Как бы вы ни смотрели на фабрику, но во всяком случае вам следовало бы хоть сколько-нибудь соблюдать перспективу: вы говорите о “гибели” кустаря таким тоном, как будто речь идет о крушении какого-то очень большого благополучия. Но ведь это же совершенно неверно: возьмите любой земский сборник, и он развернет перед вами такие картины “благополучия” нашего кустаря, что волосы станут дыбом. Знаете ли вы, например, что наши деревенские ткачихи, работая восемнадцать часов в сутки, вырабатывают по одной копейке в час?.. Скажите, пожалуйста, какая фабрика может погубить такую ткачиху?»

Или в другом месте. «Заказали, например, во Владимирской губернии воскресной артели столы для школ; заказ большой и выгодный; артельщики и приняли себе в помощь десять столяров. В Вятской губернии смолу гонят артелями; если дела идут хорошо, артельщики принимают рабочих. Артели ножевщиков в с. Павлове имеют собственные керосиновые двигатели» и т. д., и т. д.

Курсистка Наташа говорит совершенно в таком же роде, а старики «отцы» только возмущаются и негодуют.

Большой рассказ «Без дороги», написанный в форме дневника доктора, представляет собою как бы живо изложенную корреспонденцию «из неблагоприятных по холере» местностей. Из этого рассказа мы прежде всего узнаем о ненормальной постановке в наших земствах медицинской помощи, о том, как один доктор отправился «на холеру» и как, несмотря на успешное и разумное ведение дела, в конце-концов пал жертвою нашей темной толпы, избившей его до полусмерти. Вообще говоря, рассказы г. Вересаева изобилуют «фактами» и рассуждениями на обличительные темы. Кто только и с какой только точки зрения у него не обличает. Больше всего говорят марксисты, затем высказываются народники, выступает с горячей речью толстовец, рисуется народное мировоззрение. Представители всех видов учений говорят много, часто вступают между собой, как выразился в одном месте сам г. Вересаев, в «утомительно-бесплодные споры», после которых уходят друг друга не убедившими, каждый при своем мнении.

Ну, а сам г. Вересаев? Как он относится ко всему тому, о чем повествует? Увы, никак. Сочувствуй он той или иной теории, это отразилось бы непременно и в его рассказах. Его увлечения, его горе и радости передавались бы и нам, читателям. Вы можете не сочувствовать учению Толстого, но читать изложение этого учения без увлечения вы не можете. Живое слово всегда скажется. И г. Вересаев это прекрасно понимает сам. Один из его героев (доктор, которого убивают) чувствует угрызение совести после того, как он наговорил много хороших и высоких «слов» о долге, силе которых сам он уже перестал верить.

Сам г. Вересаев не принадлежит, по-видимому, ни к одной из существующих партий, живет «без дороги», ищет этой дороги. Это его больное место, и те рассказы, где он берedit эту рану, производят безусловно правдивое и сильное впечатление. Рассказ «Товарищи», написанный на эту тему, является поэтому лучшим рассказом г. Вересаева. Товарищи — это люди, имевшие когда-то идеалы. По выходе из университета они превратились в чиновников, забрались в глушь, и вот теперь собираются вместе, говорят о пустяках, пьют пиво и даже боятся вспомнить о том, что когда-то у них были свои убеждения, были идеалы. Всем им до боли жалко светлого прошлого, но высказать это чувство никто из них не решается. «Все, — поясняет г. Вересаев, — были несчастны, — да, но никто из них не уважал своего горя, да и не стоило оно уважения... Горе их — горе дряблe, бездеятельное — ему нет оправдания; стыдиться его нужно, а не нести в люди». Еще прямее высказывается доктор в рассказе «Без дороги». «Она, — думает он о подруге своего детства Наташе, — хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным развитие капитализма в России. И в расспросах ее сказывается мысль, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь: однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где говорится что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем, но пусть для меня, как и для моего собеседника, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцита или верности гипотезы Альтмана».

Слова «долг народа», «дело», «идея», режут ему ухо, как визг стекла под тупым шилом. А почему? Да просто потому, что доктор этот ничему не верит, потому что, как сам он говорит в одном месте, все его «внутреннее содержание — лишь

красивые слова», не более того. Он боится заглянуть внутрь себя, боится, так как знает, что за душой у него «ничего нет». «К чему, говорит он, мне мое честное и гордое мирозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво. Это — не любимая женщина, с которой я живу одной жизнью, а лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп, и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно холоден. Однако, обмануть себя я не в состоянии...»

Человек с сильной глубокой верой во что бы то ни было, но с верой действительной, не напускной, является для героев г. Вересаева постоянным предметом зависти, вызывает в них чувство искреннего уважения. Они завидуют толстовцу, несмотря на все, вполне понятные им, несообразности этого учения, завидуют простому мастеровому, который уверовал в возможность спасения чуть ли не всего человечества при помощи изобретенной им вентиляции, завидуют даже простой наивной богомолке, возвратившейся из Иерусалима. «Из своего долгого путешествия, полного тяжелых лишений, она, — поясняет alter ego г. Вересаева, — вынесла в душе своей нечто новое, бесконечно для нее дорогое, что всю ее остальную жизнь заполнит теплом, счастьем и миром». Героям г. Вересаева мучительно хочется найти идею, которая захватила бы их целиком и упорно вела к определенной цели. «Ты хочешь, — говорит доктор Наташе, — чтобы я вручил тебе знамя и сказал: вот тебе знамя — борись и умирай за него... Я больше тебя читал, больше видел жизни, но со мною то же, что с тобой: я не знаю! — в этом вся мука».

Это отсутствие всепоглощающей идеи, отсутствие твердых горячих убеждений, познания смысла жизни г. Вересаев считает явлением, вполне характеризующим наше время. Толстовцы, народники, марксисты — все это люди, унаследовавшие свои воззрения, принявшие их в совершенно готовом виде. Одни из них постарались проникнуться этими воззрениями и прониклись, другие до сих пор стараются сделать это, но не могут, так как «постараться поверить», если этой самой веры нет, — трудно, а сказать свое слово не могут. Г. Вересаев ясно видит беспомощность нашего «юного племени», не могущего сказать своего слова и в то же время не удовлетворяющегося старыми авторитетами. «Все теперешнее поколение, — говорит от его лица доктор, — переживает то же, что я: у него ничего нет, — в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидно и бесповоротно... Посмотрите на теперешнюю литературу: разве это не литература мертвецов, от

которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти...» Таково основное мирозерцание г. Вересаева. У него, как у всего нашего поколения «девяностых», нет за душой ничего положительного, твердого, нет знамени, нет идеи, которая наполнила бы все его существование и которую он стремился бы привить другим. Вот почему те странички его рассказов, где он говорит не о своих страданиях по поводу своего безверия, а приводит верования других и вообще рассказывает, носят характер протоколов, газетных корреспонденций, политико-экономических трактатов, изложенных для большей популярности в диалогической форме.

Не будь в рассказах г. Вересаева кроме этих объективных диалогов ничего другого, на них, конечно, не обратили бы половины того внимания, которое им оказывают в настоящее время. Если их заметили и читают, то лишь благодаря их субъективизму, отразившемуся в них искреннему страданию автора, который, не будучи в состоянии устоять на «мертвой дороге», предпочел остаться совершенно «без дороги», не побоялся сказать об этом громко и затем уже искать своего собственного пути, искать то новое, свое слово, которое даст удовлетворение его личности.

III

Тоскливый тон, которым проникнуты рассказы Антона Чехова, а также и г. Вересаева, несомненно очень характерное явление в нашей литературе. Оно ясно свидетельствует о каком-то происходящем на наших глазах процессе, который пока еще не принял сколько-нибудь определенных очертаний, но который со временем, быть может, даже в недалеком будущем, раскроет какие-нибудь новые горизонты. Тон этот является несомненным отзвуком внутренней работы индивидуальной человеческой личности, постоянно и упорно стремящейся уяснить себе смысл жизни. Процесс этой индивидуальной работы начался у нас очень давно. Еще в начале века Баратынский, Пушкин и целый ряд других более или менее крупных писателей поставили индивидуальную личность человека на пьедестал, потребовали для нее больших прав, чем она имела до того времени. Раз начавшаяся борьба росла с каждым часом все более и более, приносила свой плод в виде тех или иных фило-

софских и теоретических проблем, но главным результатом ее было несомненное и очевидное для всех торжество индивидуальной человеческой личности. Сильнее всех провозгласили этот принцип в наше время декаденты. Их, впрочем, я оставляю в стороне, так как наши русские декаденты не представляют собою ничего самостоятельного. Стоя на «мертвой дороге», они с радостью ухватились за провозглашаемое германским философом Ницше учение о сверхчеловеке и в настоящее время не только не унывают, но даже, наоборот, ликуют, чувствуя себя достойными сверхчеловеческой высоты и потому имеющими право гордо смотреть на обыкновенных простых смертных. Тоскливый тон наших беллетристов свидетельствует о том, что индивидуальная личность уже не удовлетворяется более теми решениями, которые ей подсказывают и которые признавали удовлетворительными лет двадцать тому назад. Не все могут стать убежденными толстовцами или марксистами, но далеко также не все могут и создать себе свое собственное мирозерцание. На этой почве и вырабатывается то тоскливое отношение к окружающей жизни, которое мы отметили выше у Чехова и Вересаева. Оба эти писателя, однако, не идут дальше тоски. Протеста у них мало. Они довольно пассивно относятся к тому, что совершается вокруг них и ограничиваются почти исключительно отрицанием.

Несколько иначе относится к вопросам этого рода недавно только вступивший на литературное поприще, но успевший в короткое время занять очень почетное место в литературной среде, Максим Горький. Индивидуализм нашел себе в этом писателе самого ревностного проповедника, борца, который не только пером и словом, но всей своей жизнью, всем своим существом ополчился на защиту самой безграничной свободы личности. Биография г. Горького устраняет всякое сомнение в возможности чего-либо искусственного и неискреннего в его мирозерцании. Она, впрочем, настолько интересна и так важна для понимания произведений Горького, что я позволю себе ее изложить в самых общих чертах, придерживаясь автобиографической заметки, напечатанной самим г. Горьким в одном из малораспространенных журналов³. Биография эта нагляднее всего покажет, с какой оригинальной и самобытной личностью мы встречаемся в лице г. Горького.

«Родился я, — пишет Горький, — 14-го марта 1868 или 9-го года, в Нижнем, в семье красильщика Василия Васильевича Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Макси-

ма Савватиева Пешкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. С тех пор с честью и незапятнанно ношу звание цехового малярного цеха». «Отец умер в Астрахани, — продолжает г. Горький, — когда мне было 5 лет, мать — в Канавине-слободе. По смерти матери дедушка отдал меня в магазин обуви; в ту пору имел я 9 лет от роду и был дедом обучен грамоте по псалтыри и часослову. Из “мальчиков” сбежал и поступил в ученики к чертежнику, — бежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до 15 лет, все время занимаясь усердно чтением классических произведений неизвестных авторов, как-то: “Гуак или непреборимая верность”, “Андрей Бесстрашный”, “Япанча”, “Яшка Смертенский” и т. п. На пароходе, когда был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый, который заставлял меня читать жития святых, Эккартгаузена, Гоголя, Глеба Успенского, Дюма-отца и многие книжки франкмасонов. До повара — терпеть не мог книг, всякой печатной бумаги, до паспорта включительно. После 15 лет возымел я свирепое желание учиться, с какой целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение, по 3 руб. в месяц. Это — самая тяжелая работа из всех опробованных мной». В Казани г. Горький потом торговал яблоками. «Работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы». Как жилось в этот период Горькому, можно судить по тому, что в 1888 г. он покушался на самоубийство.

После Казани Горький пробует счастья в Царицыне, где занимает должность железнодорожного сторожа, а затем опять появляется, по случаю призыва, в Нижнем. В солдаты, однако, Горький не попадает, — «дырявых не берут», а делается продавцом баварского кваса. Наконец многострадальный член «малярного цеха» какими-то судьбами пристраивается писмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина. Ланин принял в Горьком участие. Однако бродячая жизнь Горького не прекратилась. Скитания привели тогда Горького в Тифлис, где он работает в железнодорожных мастерских и где, в газете «Кавказ», напечатал свой первый рассказ. Вернувшись затем в родные края, Горький начал помещать свои очерки в поволжских газетах. В Нижнем Горький познакомился с В. Г. Короленко, который и имел решающее влияние на его литературную карьеру.

После Николая Полевого⁴ г. Горький едва ли не второй действительно замечательный русский самородок*. При чтении его рассказов никому, конечно, и в голову не придет, что он прошел такую школу. Привыкнув считать способными к литературной работе лишь людей, прошедших все степени нашей школы, мы не можем себе представить, чтобы литератор мог выработаться из пекаря, крендельщика и т. д. А ведь, кто его знает, дал ли бы нам г. Горький то, что он дал, если бы он прошел нашу всех и вся нивелирующую школу, получил гимназическое образование, всецело направленное к обезличению и обесцвечению всякой индивидуальности.

Вероятнее всего, что — нет. Я, конечно, не хочу этим сказать, что школа превратила бы его безусловно даровитую натуру — в нечто бездарное. Этого, конечно, не случилось бы. Но, наверное, школа, заставляющая детей целыми днями просиживать в четырех стенах за латинской грамматикой, не столько думать, сколько «зубрить», лишила бы г. Горького того, что он вынес из жизни своей на лоне природы, из своих постоянных наблюдений над природою и людьми, над действительною жизнью во всей ее совокупности. Читая рассказы г. Горького, вы чувствуете, что «с природою одною он жизнью дышал», что он любит эту природу, знает ее и потому дает замечательные по своей художественности и правдивости описания. У г. Горького сочная кисть и свежие краски. Пишет он мазками, без лишних слов, без всякой риторики. Всего двумя-тремя штрихами он передает целую и вполне реальную картину. Особенно любит он море, которое у него столь же разнообразно, как и у Айвазовского. Его кипучая, нервная натура никогда не пресыщается созерцанием этой темной опаловой широты, бескрайной, свободной и мощной. Море у него смеется, улыбается, спит, играет маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая эти волны друг с другом и разбивая в мелкую пыль. На одной странице перед вами «игривое море, все изрытое бегающими стаями волн, кое-где уже убранных пышной и белой бахромой пены», на другой — море это ходит грозными волнами, с шумом разбивающимися одна о другую.

Разносторонность художественного дарования г. Горького сказывается, между прочим, в том, что он с таким же успехом,

* Кн. В. Барятинский сопоставлял его в одной из своих статей в «Северном» кур<ьере> с Ломоносовым, но такое сопоставление вряд ли возможно. Ломоносов прошел все-таки систематическую школу до заграничной командировки включительно.

как и пейзажи, рисует жанровые картинки, пишет вполне живые портреты. Для доказательства вполне достаточно развернуть любую страницу из его рассказов, но я позволю себе обратить ваше внимание на его описание пения и певцов и сравнить этого рода картинки, не раз встречающиеся у г. Горького, с картинкой «Певцы», такого замечательного художника, как И. С. Тургенев. Это сравнение покажет вам лучше всего, что вы имеете дело с действительно замечательным художником, разбирающимся не только в красках, но также и в звуках, и в тончайших психологических настроениях. Вот, например, в каких выражениях он дает описание дуэта, пропетого двумя женщинами.

«...Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

“Эх-у ме-ня-у-крас-ной-де-ви-цы...”

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами крикнула:

“Как былинка, сердце высохло-о-о!”

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жаловался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал с унылой и бессильной скорбью, рыдал, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — более низкий и мужественный — могуче тек в воздух, полный чувства, кровной обиды и готовности мстить. Ясно выговаривая слова, он рвался из груди густою струей, и от каждого слова пахло кипящей кровью, возмущенной оскорблением, отравленной обидой и мощно требовавшей мести.

“Уж я ему это выплачу...” — жалобно пела Васса, закрыв глаза.

“За-озноблю его, по-овысушу...” — уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки, похожие на удары».

Читая эти строки, вы положительно слышите пение, проникаетесь настроением певцов и слушателей г. Горького.

Впрочем, о том, что г. Горький — несомненно крупный художник, как я сказал уже выше, свидетельствует каждая страничка его рассказов, а потому подробно останавливаться на этой стороне его таланта, полагаю, будет излишним.

IV

Перейдем к его сути, к той «душе», которой мы, по справедливому замечанию Толстого, всегда ищем в произведениях писателя. У г. Горького искать ее, впрочем, не придется долго. Она так ярко выразилась в главнейших типах его рассказов, что бросается сразу же всякому в глаза. Скажу больше. Все лучшие рассказы г. Горького, не исключая и самой большой по объему его повести «Фома Гордеев», написаны на одну и ту же тему, во всех их главную роль играет одна и та же фигура «беспокойного» человека, стремящегося к абсолютной свободе и свету и отражающая в себе самого г. Горького.

Все герои его поэтому довольно однообразны. Им скучно на белом свете, все они в большинстве случаев неудачники, обладающие огромным запасом сил, но не умеющие приложить эти силы к делу или, вернее, не могущие найти себе такого дела, которое бы их втянуло, удовлетворило вполне. Говоря словами одного из действующих лиц г. Горького, все они «беспокойные люди», которые мечутся из стороны в сторону, тревожно «ищут своей точки» и, убедившись в собственном бессилии, низко и больно падают. Это своего рода Рудины, «лишние люди», вышедшие из среды, в душу которой до сего времени мало кто заглядывал. Во времена Тургенева среда эта, стонавшая под тяжким игом крепостного права, слишком была еще придавлена. Теперь она начинает развиваться, в ней просыпаются умственные запросы, ум начинает работать над старыми для других вопросами о смысле жизни, и, как естественное следствие этой работы, являются свои собственные Рудины, свои собственные Чулкаурины⁵, Раскольниковы.

Что же представляют собой беспокойные герои Горького, к чему они стремятся, каковы у них идеалы? Прежде всего — все это люди, стоящие неизмеримо выше окружающей их среды. Сытое «мещанское счастье»⁶ им претит. Они вечно ищут чего-то высшего, ищут какой-то своей собственной «точки».

— «Почему я не могу быть спокоен? — спрашивает Коновалов, типичный представитель этого настроения у г. Горького. — А? Почему люди живут себе и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и все прочее... И всегда у них есть охота делать то, другое. А я — не могу. Тошно. Почему мне тошно?» Другой рефлектик, сапожник Орлов, особенно ярко отражает это пессимистическое настроение. Так же, как и Коновалов, он родился «с беспокойством в сердце».

Он — сапожник. Почему? «Али, кроме меня, — философству-ет он, — мало сапожников? Какое в этом для меня удоволь-ствие? Сижу в яме и шью... Потом помру. Вот, говорят, холера... Ну и что же? Жил Григорий Орлов, шил сапоги — и помер от холеры. В чем же тут сила? и зачем это нужно, чтобы я жил, шил и помер, а?» Дед Архип также пессимистически смотрит на мир. «Правильно ты сказал, — говорит он своему внуку, — пыль все... и города, и люди, и мы с тобой — пыль одна».

К таким пессимистическим выводам приходят герои г. Горь-кого исключительно потому, что не находят себе надлежащего места между людей, не находят себе дела, которое считали бы достойным своей работы, и потому чувствуют себя лишними. Фома Гордеев, этот представитель беспокойного человека из класса купцов-миллионеров, смотрит с завистью на кипящую вокруг него работу людей, не думающих и потому легко при-миряющихся с окружающей их пошлостью. «Они, — думал Гордеев, — нужны, а я... ни к чему... Мы живем без сравне-ния... и без оправдания, совсем зря... И совсе не нужно нас... Мы все — лопнем... ей Богу! А отчего лопнем? Оттого что... лишнее все в нас... в душе лишнее... и вся наша жизнь лиш-няя...»

Если хотите, то философия эта, высказываемая и другими героями г. Горького, напоминает собой несколько «кладбищен-ство» Помяловского⁷. Но только напоминает. Между «кладби-щенством» с его холодно равнодушным отношением к суете житейской и недовольством г. Горького очень существенная разница.

Не меньшая разница также существует между «лишними людьми» Тургенева и считающими себя «лишними» героями г. Горького. Люди, зараженные «кладбищенством», смотрят на жизнь холодно мрачным взглядом, постоянно твердят о суетно-сти всего живого. «Лишние люди» Тургенева ясно видят по-шлость окружающей их жизни, сначала смотрят на эту жизнь свысока, затем мало-помалу снисходят, смиряются и превра-щаются в Гамлетов Щигровского уезда или Чулкатуриных и успокаивают себя известным софизмом о заевшей их среде.

Герои г. Горького, хотя и считают себя «лишними людьми», однако никогда не смиряются. Беспокойство духа, присущее всем им, не позволяет мириться с пошлой обстановкой или же принимать в ней участие без всякого протеста. В то же время сильная вера в себя, в свои силы мешает им взвалить всю вину за свои мучения на окружающее их общество, на пресловутую «среду».

«Каждый человек, — говорит Коновалов, — сам себе хозяин, и никто в том не виновен, ежели я подлец есть». «...Жизнь плохая, — возмущается Фома Гордеев. — И что вы все на жизнь какую-то жалуетесь? Какая жизнь. Человек — жизнь и кроме человека никакой еще жизни нет...»

Коновалов подробно излагает свой взгляд по этому поводу.

«Кто виноват, — говорит он, — что я пью? Павелка, брат мой, не пьет — в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю не хуже его, — однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети. Он еще моложе меня. Выходит, что во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку это следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые: — родился, пожил, сколько назначено, и помри! А я на особой стезе... И не один я — много нас таких. Особливые мы будем люди... и ни в какой порядок не включаемся... Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы — чтоб нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой и жизнью виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем... Матери наши не в урочные часы зачали нас — вот в чем сила...»

Тургеневский «лишний человек» Чулкатурин тоже жалуется на то, что мать им «обремизилась», что в течение всей своей жизни он не находил себе места и т. д., но какая огромная разница между этими жалобами! Какими жалкими и дряблыми выглядят все эти Чулкатурины и Гамлеты Щигровского уезда перед Коноваловыми, Гордеевыми, Орловыми и другими «беспокойными», ищущими своей точки «босяками» г. Горького!..

В чем же кроется причина этого различия двух совершенно одинаковых по своей сущности типов? Причина эта лежит в нравственной мощи «лишних людей» г. Горького. Гамлеты Щигровского уезда сознают и чувствуют, что сила человека лежит в его индивидуализме. «Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна, — говорят они... — Ты будь хоть глуп, да по своему! Запах свой имей — свой собственный запах, вот что!»... Но дальше слов не идут и сейчас же «смирятся». Для протеста у них не хватает необходимого количества силы воли.

Это не то, что, например, Фома Гордеев. Войдя в купеческую среду, он сразу же почувствовал, что здесь он лишний, но совсем не потому, чтобы он был хуже других, а скорее потому, что вся окружающая среда казалась ему и пошлой, и глупой, и фальшивой. «Ему оттого плохо среди них, — поясняет г. Горь-

кий, — что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова и чувствует, что они и сами не верят себе и ничего не понимают». Тоскливое настроение, возбужденное пребыванием в этой среде, приводит его к кутежам, нелепейшим поступкам и дебошам. Целыми месяцами он проводит время в обществе пьяных людей, бьет людей, самоуправствует и все-таки ни на минуту не может усыпить гложущего его червя недовольства всей этой жизнью, окружающей его пошлостью. Он не смиряется, а мучится и протестует, высказывает свое недовольство при каждом удобном случае. Просят рабочие на водку — он хочет убедить их в бесполезности их работы. Приходит на освящение парохода и на самоуверенные речи о всемогуществе и величии русского купечества отвечает резкими обличениями его представителей, называет настоящим именем все действительные подвиги этих строителей земли русской. Не раз выступает он в роли Чацкого, в роли обличителя. Но это обличение не цель его жизни. Он обличает потому, что не может не обличать. Происходит это у него само собой при всяком случае столкновения с проявлением пошлости или фальши. Обличение не дает ему внутреннего удовлетворения, не составляет еще той «точки», которой ищет Фома Гордеев с таким же энергичным беспокойством, как и Коноваловы, Орловы, и вообще все другие «беспокойные» люди.

В чем, однако, заключается эта «точка» или, если ее нельзя определить вполне точно, то, по крайней мере, в каком направлении ее ищут. Исходным пунктом всех беспокойных людей г. Горького является общее благо, но благо действительное, а не воображаемое. Тип такого беспокойного человека, совершенно в стиле г. Горького, дал, между прочим, Тургенев. Я имею в виду Михаила Полтева в рассказе «Отчаянный». На вопрос о том, какой злой дух заставляет его пить запоем, рисковать жизнью и т. п., — у него всегда был один ответ: тоска.

«— Да отчего — тоска?

— Как же, помилуйте! Придешь, этаким образом, в себя, очувствуешься, станешь размышлять о бедности, о несправедливости, о России... Ну — и кончено! Сейчас тоска — хоть пулю в лоб! Закутишь поневоле!

— Россию-то зачем сюда приплел? Все это у тебя от бездействия.

— Да не умею я ничего делать, дяденька родной!.. Вы вот поучите меня, что мне делать, жизнью из-за чего рискнуть? Я — сию минуту...»

Герои г. Горького проповедают в таком же стиле. Они прямо заявляют, что готовы «на сто ножей броситься... лишь бы с пользой, чтобы из этого облегчение вышло людям».

«Нужно такую работу делать, — внушал Фома Гордеев своим рабочим, — чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это богородские мужики делали».

Все беспокойные люди не мирятся, однако, с обыденной, хотя бы даже и полезной работой, а жаждут подвигов, жаждут чего-то необычайного и никогда ни на чем успокоиться не могут, так как считают себя существами неизмеримо более высокими, нежели все остальные люди. Г. Горький, вложивший основное свое миросозерцание в уста своих героев, сам сознается вполне откровенно, что он «всегда считал себя лучше других и успешно продолжает заниматься этим до сего дня». Так же, конечно, думает и Фома Гордеев, и Коновалов, и другие. Вполне поэтому естественно, что довольствоваться малым, что удовлетворило бы всякого другого, они не могут, отчасти из чувства высокого понятия о своем достоинстве, отчасти из удивительной склонности к рефлексии благодаря способности находить в каждом предмете его темную сторону.

Сапожник Орлов бросает свою яму, поступает на службу в холерный барак, имеет очень хороший заработок, добивается того, что его признают «нужным человеком»; он возрождается и, по собственному признанию, «прозревает на счет жизни». Казалось бы, цель достигнута. Беспокойство, однако, тут как тут. Орлов начинает сомневаться в значении своего труда. Он помогает больным от холеры. Но разве это важно? Холерных окружают заботами, уходом, а сколько людей остается вне барака, людей в тысячу раз более несчастных, нежели эти холерные, и остающихся тем не менее без всякого призрения. «Живешь на земле, — философствует он, — ни один черт даже и плюнуть на тебя не хочет. А как начнешь умирать — не только не позволяют, но даже в изъясн себя вводят. Бараки... вино... шесть с половиной бутылка!» Человек выздоравливает, и доктора радуются, а он и хотел бы разделить эту радость, да не может, так как прекрасно знает, что за порогом барака этого больного ждет жизнь «хуже холерной судороги».

И вот опять пьянство, запой, бродяжничество, до тех пор, пока опять счастливая случайность снова подымет «беспокойного» над землей. Ни обеспеченное положение, ни сытая жизнь не успокаивают «беспокойных» людей. Большинство из них — люди очень способные, имеют полную возможность жить в свое удовольствие, иной раз даже без всякой работы, но

врожденный дух беспокойства не позволяет им примириться с пошлым и сытым существованием будничной жизни, толкает их все вперед и вперед.

Было бы, однако, большой ошибкой думать, что беспокойные люди г. Горького имеют какие-нибудь особенно высокие и определенные идеалы. Если бы спросили кого-нибудь из них, что, собственно говоря, им нужно, то они не сумели бы вам точно сформулировать свои стремления. Иной раз им хочется приносить пользу, быть «нужными» людьми, а в общем хочется «проявить себя каким бы то ни было способом». «Раздробить бы всю землю в пыль, — мечтает Орлов, — или собрать шайку товарищей и жидов перебить... всех до одного! Или вообще что-нибудь этакое, чтобы встать выше всех людей и плюнуть на них с высоты и сказать им: ах, вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное, и больше ничего! Н-да-а! Черт же возьми... скучно. И, ах, как скучно и тесно мне жить!» В таком роде мечтают почти все герои г. Горького. Это избыток сил, которых некуда направить, жажда чего-то смутного, стремление к чему-то такому, что еще не успело вылиться в определенную формулу, воплотиться в каком-нибудь ясно осознанном образе. Это своего рода романтизм.

Если, однако, разобраться во всех этих порывах, во всех этих недоговоренных стремлениях, нередко имеющих крайне дикий характер, то можно найти в них и нечто общее. Общее это можно назвать стремлением сознавшей свою индивидуальность человеческой личности освободить себя от всех общепринятых условностей социальной и нравственной морали упорным исканием смысла жизни.

Абсолютная свобода личности прежде всего... «Первое дело, — формулирует свою философию Коновалов, — человек. Понял? Ну, и больше никаких... По-твоему выходит, что, пока там все это переделается, человек все так же должен оставаться, как и теперь... Нет, ты его сначала перестрой... Чтобы ему было светло и не тесно на земле, вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...»

Более обстоятельно и подробно развивает эту же тему учитель в прекрасном рассказе «Ошибка»:

«Ты, — говорит он, — знаешь людей в плену у жизни? Это те люди, которые хотели быть героями, а стали статистиками и учителями. Они некогда боролись с жизнью, но были побеждены и взяты в плен ее мелочами. Вот о них-то говорю я и это их хочу спасти... Ты понял? Они погибают, ибо — гонимы, ибо все смотрят на них, как на врагов, а сами они враги себе. Рассеян-

ные повсюду, они погибают от сомнения и тоски... и от невозможности свободно ходить и думать... И вот их я соберу воедино и выведу вон из жизни в пустыню и там устрою им будку всеобщего спасения. Ты видишь — будка, а не коммуна, не фаланстер — это легально, не правда ли? А я один стану над всеми ими и научу их всему, что знаю. Я знаю много, больше, чем есть предметов для знания, ибо я знаю всех их, плюс — мое знание!.. Мы источим по капле соки наши на песок пустыни и оживим ее, застроив зданиями счастья! Среди нас будет возвышаться над всеми будка всеобщего спасения, и на вершине ее, под стеклянным колпаком, буду вечно вращаться я сам и смотреть за порядком среди тех, что вручены мне судьбою. Я буду строг, но не по-человечески справедлив. Я знаю высшую справедливость. Я наложу на всех одну обязанность — творить. Твори, ибо ты человек! — прикажу я каждому. Это будет грандиозно! И когда мы создадим свое царство, в котором все будет гармония, то созовем всех шпионов и всех сильных земли и все глупые народы созовем и скажем им: «Вот вы гнали нас, а мы создали вам вечный образец жизни! Вот вам он — следуйте ему! Мы же, возрожденные из пепла, идем творить, вечно творить... Вот наша задача». И мы, бывшие бедняки, уйдем, обогатив бывших крезов богатством духа и силы жить. Победа!.. Тогда я скажу всему миру: «Люди, оденьтесь в светлое, ибо ночь исчезла и не придет больше». Вот какую идею родил я из несчастий и мук моей жизни, я, гонимый и затравленный, я, измученный собой и уязвленный язвой желания быть творцом жизни. Ты хочешь быть? — твори новое! Дай что-нибудь людям, дай им, ибо они жалки и бедны!»

Творить, однако, герои г. Горького совершенно не способны. Для этого, при их чрезмерно развитом индивидуализме, у них не хватает достаточного количества любви к человеческим массам, не хватает альтруизма, во-первых, а во-вторых, нет у них «духа строительного». Крестный отец Фомы Гордеева, положительный тип умного, изворотливого купца, знающего что и как ему нужно делать, верящего в мощь русского купечества, Маякин, прекрасно характеризует эту беспомощность беспокойных людей г. Горького. «Дайте, — говорит он, — людям полную свободу». Тогда, по его словам, воспоследует такая комедия. «Почуяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и пером полетит и туда, и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испускать... А духа этого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится это он день-другой, потопорщится во все стороны и — в скорости ос-

лабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... хе-хе-хе! Тут его, — хе-хе-хе! — голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? Та-ак-с... Ну, так-теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, стряхнем вас с земли! Цыц, голубчики...»

V

В таком случае, однако, что же в конце концов делать «беспокойным» людям? Творить они не могут, да, по-видимому, и сами не особенно сильно стремятся к этому; ожидать, когда разного рода Маякины, более сильные, стряхнут их, «как червей с земли», скажут им «цыц» и заставят смириться, тоже не соответствует свободолобивому характеру беспокойных людей. Смирение совершенно не в их характере. Итак, что же делать?

Ответ на этот вопрос дают все «беспокойные люди» почти в одних и тех же выражениях, а именно: необходимо освободить себя от всяких пут, от всяких условностей, которые так или иначе теснят свободу личности. Конечная цель всех стремлений всех беспокойных людей г. Горького — это абсолютная, ничем не стесняемая свобода. «Приятно, — говорит один из героев г. Горького, — чувствовать себя свободным от обязанностей, от разных маленьких веревочек, связывающих твое существование среди людей... от всяких мелочишек, до того облепляющих твою жизнь, что она уже становится не удовольствием, а скучной ношей... тяжелым лукошком обязанностей... вроде обязанности одеваться прилично, говорить прилично и все делать так, как принято, а не так, как тебе хочется».

Беспокойным людям, проникнутым такими свободолобивыми мечтами, удовлетворяет только бродячая жизнь. Она нравится им потому, что это «птичья жизнь», потому что в ней нет обязанностей и нет законов, потому что в ней все позволено... Фома Гордеев мечется из стороны в сторону, ищет своей «точки» до тех пор, пока случайно встретивший его странник не указывает ему как на выход из его положения на вольную жизнь бродяги.

И посмотрите, с каким восторгом, с какой любовью, даже энтузиазмом говорят беспокойные люди об этой вольной жиз-

ни. Странник, убеждающий Фому Гордеева бросить пошлую будничную жизнь, развертывает перед его глазами замечательную по своей поэтичности и задушевному тону картину вольной жизни.

— «Выдь-ка ты, — говорит он, — на дорогу вольную, на поля, на степи, на равнины, горы... выдь, да посмотри на мир с воли, издали... Зашумят вокруг тебя леса дремучие сладкими голосами о мудрости Господа; запоют тебе птички Божий о святой славе Его, а степные травы курят ладаном Пресвятой Деве Богородице... Смотришь в небо, лежа где-нибудь под кустиком, а оно все к тебе опускается, как обнять тебя хочет... На душе тепло и тихо — радостно, ничего-то тебе не хочется, ничему не завидно... Так вот и кажется, что на всей земле только ты да Бог...»

«...Люблю я, друг, — говорит другой герой Горького, Лакутин, — эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно уж очень. Нет над тобой никакого начальства... сам ты своей жизни хозяин... звезды мигают мне, ровно говорят: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся...» Коновалов после многих мучивших его сомнений о бесполезности своего существования успокаивается на том, что решает «ходить по земле в разные стороны»⁸. «Это, — говорит он, — всего лучше — идешь и все видишь новое, и ни о чем не думается...»

Чисто внешние неудобства вольного существования мало смущают свободолюбивых героев г. Горького. «Шесть лет, — говорит сам о себе один из этих проповедников индивидуализма, — я путешествую и, ничего себе, не жалуюсь Богу моему на судьбу. Об этом времени я не буду рассказывать, ибо оно слишком однообразно... и разнообразно. В общем, это веселая птичка — жизнь. Только зерен не хватает... но не надо быть слишком требовательным, памятуя, что даже лица, на тронах сидящие, не одни только удовольствия испытывают. В такой жизни, как эта, нет обязанностей — это первое хорошее, и нет законов, кроме законов природы, — это второе. Конечно, господа урядники иногда беспокоят... но и в хороших гостиницах блохи водятся... Зато вы можете идти направо, налево, вперед, всюду, куда вас влечет; а если не влечет никуда, запасись от мужика хлебом — он добр и всегда даст — запасись хлебом и лежи, дондеже тебя не потянет куда-нибудь...»⁹

Вот конечный пункт, до которого доходят все «беспокойные люди», то направление, в котором они предполагают найти свою точку. Сам г. Горький вполне разделяет их взгляд в этом

отношении. «Нужно, — говорит он уже от себя, — родиться в культурном обществе, для того чтобы найти в себе терпение жить всю жизнь среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем малых ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий — одним словом, из всей этой охлаждающей чувство и развращающей ум суеты сует, в общем далеко неверно и неточно называемой — культурой. Я родился и воспитывался вне этого общества и, по сей приятной для меня причине, не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок... Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме пары хороших выносливых ног»¹⁰.

До г. Горького никто еще не выступал с такой смелой, энергичной проповедью самого безграничного индивидуализма. Не удивительно поэтому, что и проповедь эта встречена далеко не всеми одинаково. В то время, как у одних «беспокойные люди» г. Горького отчасти вызвали, отчасти лишь усилили врожденное им беспокойство, в то же самое время другие люди, более уравновешенные, отнеслись к этим свободолюбивым босякам даже недружелюбно. Еще на днях попала мне в руки книжка «Русской мысли», где небезызвестный критик г. Протопопов, прилаживающий ко всем вопросам свою старую, покрытую плесенью трафаретку, относится очень скептически ко всем порывам в высь «беспокойных» героев г. Горького и даже пытается, неизвестно зачем, доказать, что не все могут достичь полной свободы, что нельзя не считаться с некоторыми принятыми уже в культурных обществах препонами и т. д.¹¹

Спор с такого рода оппонентами, ведущийся везде и всюду в настоящее время, спор, конечно, совершенно бесплодный. Ни та, ни другая сторона не понимает, да и не может понять друг друга. Если вы меня спросите — почему, я отвечу ссылкой на прекрасный по своей художественности поэтический рассказ г. Горького «Песня о Соколе». Песня это содержит в себе небольшой диалог между раненым Соколом и Ужом. Уж решительно не понимает свободолюбивого стремления птиц к небу. После разговора с Соколом, с восторгом говорившим на эту тему, он свертывается клубочком, подпрыгивает и сейчас же падает.

«Так вот в чем прелесть полетов в небо, — говорит Уж. — Она — в падении. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тос-

кую, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу...»

«Рожденный ползать, — морализует по этому поводу рассказчик, — летать не может».

Вот простой, но ясный ответ на вопрос о причине постоянных споров между людьми спокойными и людьми беспокойными. Сам г. Горький не заблуждается относительно конечных результатов постоянного стремления в высь людей беспокойных. Он знает, что для большинства, если не для всех, полеты эти оканчиваются падением, что падение это сопровождается ужасными страданиями, часто смертью. Раненый Сокол, желая последний раз насладиться ощущением свободного смелого полета, бросился с утеса в пропасть и разбился. Он погиб, но это не важно, а важно то, что свою жизнь провел он свободно, а по смерти стал «живым примером, призывом гордым к свободе, к свету». Неважно также, что многие будут искать света не там, где он на самом деле, и в конце концов погибнут. Пускай, говорит alter ego г. Горького, не нужно им мешать, не стоит их жалеть — людей много! Важно стремление, важно желание души найти Бога, и если в жизни будут души, охваченные стремлением к Богу, Он будет с ними и оживит их, ибо Он есть бесконечное стремление к совершенству.

Одни могут, конечно, разделять эти порывы в большей степени, другие — в меньшей, но, я думаю, нисколько не ошибусь, если скажу, что все мы, закрывая небольшой серенький томик рассказов г. Горького, не раз повторяли себе слова Лежнева о Рудине. «В нем есть энтузиазм, а это — самое драгоценное качество в наше время. Мы все стали невыносимо рассудительны, равнодушны и вялы. Мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет».

